

С. МСТИСЛАВСКИЙ

СМЕРТЬ ГАПОНА



■ ■ ■
БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“
№ 363
АКЦ. ИЗД. О-ВО „ОГОНЕК“
МОСКВА — 1928

Вышедшие книжки Библиотеки „Огонек“

ШАРЛЬ ЛУИ ФИЗЖОП



МАСШТАБ: 1/1000
100 СТ.
ИЗД. № 100. 1000000
1000000

Ч. ДИККЕНС
НЕОБЫЧАЙНАЯ
ДУЭЛЬ



МАСШТАБ: 1/1000
100 СТ.
ИЗД. № 100. 1000000
1000000

МИХАИЛ КОЛЫШОВ

СЕРЕБРЯНАЯ УТКА



МАСШТАБ: 1/1000
100 СТ.
ИЗД. № 100. 1000000
1000000

БОР. ПИЛЬНЯК
РАССКАЗЫ С ВОСТОКА



МАСШТАБ: 1/1000
100 СТ.
ИЗД. № 100. 1000000
1000000

Я. ГЛАН
СОВРЕМЕННЫЕ ПИСАТЕЛИ
ЗАПАДА



МАСШТАБ: 1/1000
100 СТ.
ИЗД. № 100. 1000000
1000000

ГОМЕР
ВОЗВРАЩЕНИЕ ОДИССЕЯ



МАСШТАБ: 1/1000
100 СТ.
ИЗД. № 100. 1000000
1000000

ТАТЬЯНА ДЫННИК
КРЕПОСТНЫЕ АКТЕРЫ



МАСШТАБ: 1/1000
100 СТ.
ИЗД. № 100. 1000000
1000000

М. СЕРВАНТЕС
ПЛУТОВСКАЯ НОВЕЛЛА



МАСШТАБ: 1/1000
100 СТ.
ИЗД. № 100. 1000000
1000000

ЕФНН ЗОЗУЛЯ
ВСТРЕЧИ

В. ЗОЗУЛЯ
ВСТРЕЧИ
С. ЗОЗУЛЯ
С. ЗОЗУЛЯ
С. ЗОЗУЛЯ
С. ЗОЗУЛЯ

Издательство „Огонек“



МАСШТАБ: 1/1000
100 СТ.
ИЗД. № 100. 1000000
1000000

С. МСТИСЛАВСКИЙ

СМЕРТЬ ГАПОНА

Лекц. Изд. О-во „ОГОНЕК“
Москва — 1928

Отпечатано
в 7-й типографии
„ИСКРА РЕВОЛЮЦИИ“
Машинно-граф.
Москва, А-Бат, Филипповск., 13.
Тираж 34.000.
Гавант № А—14.971.

Глава I.

«ГРЯДЫН ВО ИМЯ ГОСПОДНЕ».

Вернувшись в Питер из Москвы с Пресненского восстания, я не сразу смог собрать Центральный Комитет Боевого Рабочего Союза. Хотя опасность для правительства и миновала, — напряженно в городе не спало. Попрежнему усиленными нарядами охранялись казенные здания; попрежнему мерзли в морозные ночи на перекрестках и в проулках посты, дозоры и патрули. Сыск шел неослабный. Собрать комитет удалось лишь через неделю после моего возвращения и то не в обычной штаб-квартире нашей, за Невской заставой, а на Широкой, в задней комнатке городской библиотеки-читальни. На повестке был только один вопрос — отчет мой о московском восстании.

Дружинники слушали с несказанным захватом, заражая своим волнением, подсказывая им для меня самого неожиданные слова. И когда кончился рассказ — не сразу смогли оторваться мыслью, вернуться в сегодняшнее, в повседневное. Но вернулись, потому что естественно и тяжело стал перед нами во-

прос — что делать дальше. Начал Булкин, начальник Выборгской районной дружины.

— Раз'ясни нам учительски, ежели ты нам учитель. Читал я по книжкам и картинки видел: о коммуне Французской и другом, где пишется про истинное героизм. Там, ежели бой, то до смертного конца: ежели на проигрыш пошло — сейчас на баррикаду, а то и так, посередь улицы, в одиноч, с красным знаменем в обнимку, под залп или под штык. О Москве ты, однако, докладываешь иначе: дрались лихо, но животом на штык не кидались, и как до кавка дело дошло — в споевремь разошлись. И сам, видишь ты, заместо того, чтобы со знаменем, так сказать, смерть принять — через забор на помойку сиганул. Ты, по нашему понятию, человек правильный: стало-быть, в книгах тех читаемо неправильно?

— Неправильно читаемо, Булкин. Революционный завет не такой должен быть. И вам уже не раз говорил: не умри, — убей.

— Верно, — кивнул Манджурец (фронтоник, новый у нас, сменил Болясного в Нарвско-заставской дружине). — Умереть, брат, всякая курица сумеет: поклопочет, поклопочет, да богу душу и отдаст, по принадлежности. В нашем деле, как в армейском — на фронте. В цепь, бывало, голову только подними с закрытия — выводный тебя сейчас всесветно кроет: подставляешься, мать твою так, этак и еще так, — полку в ущерб. А чтобы посередь поля — со знаменем в обнимку, животом на штык — и с пьяных глаз в голову не влезет.

А по-революционному — у иных — как бы почитается за героизм. Не возмемь в толк.

— От верозмысла,— убежденно сказал Шарбатый.— По партийной линии тоже ведь, как поглядишь, так: кто чаще в тюрьме сидел, тому почету больше. А по-излему: часто попадался, значит — работа не чиста, не мастер. Ну, раз, там, другой влия, с кем случая не бывало. Но езели многожды..., обязательно от неуменья. Остало быть, прими во внимание, укороти или вовсе отсуь от дела. А они его, глядя-но,— на первое место: заслуга — по высадке. Это с чем же сообразно?

— У нас в районе тоже завелся такой, из меньших, обивает народ на конституцию; все о Думе: и такое от нее добро, и этакое. Я его на митинге окрыл. Конституция, говорю, господская воляность, а нам она ни на лад: и кто, говорю, за конституцию говорит, тот, говорю, пролетарию изменник. Он как затрясется весь, оратор-то: я говорю, восемь лет в ссылке сидел. А я ему — что ж ты, говорю, козий ты сын, сидел, а не бегал... Ребята как загогочут..

— Постой-ка,— перебил Угорь.— Как бы от дела в разговор не уйти. Ты вот что скажи, Михайла. После Москвы — нынче что же — опять будем общего выступления ждать. Или лабаш дашу, что ли,— говори прямо.

— Дела, Угорь, нам с тобой на век хватит: шабашить не придется. Но относительно общего выступления — теперь, после Москвы, на ближайший срок его ждать едва ли приходится. Временно, по крайней ме-

ре, придется на мелкую, на партизанскую борьбу перейти.

Угорь качнул головой.

— Ежели так, значит, делу пабаш. Народ у нас такой: навалились раз, нахрапом не взяли — крышка, стало-быть; теперь, как в россыпь пошли, ни чем их, браток, не соберешь!

— Соберем, Угорь, дай срок!

— Срок-то давай не давай, сам подойдет. Однако, как с ребятами быть: не послышшь ее в прок, дружиную? Ежели до общего — послышшь да еще выслушешься? Это надо обстоятельно, я тебе скажу, обсудить.

— Подожди с обсуждением, — отрывисто сказал Николай. Он молчал до сих пор весь вечер, и сейчас бросилось в глаза, что он странный какой-то. Не в себе.

— У меня другой есть вопрос к Комитету. По-круче.

— А ну?

— Да и как сказать, не знаю.

Он дрогнул губами и замолчал.

— Стряслось что? — спросил Угорь и подвинулся ближе. — Ты это чего же?

Николай еще ниже опустил голову, лица совсем не стало видно.

— Дело, братцы, такое. Гапон...

— Гапон? — насторожился Булкин. — И то ребята толкуют — гапоновцы собираться стали. Отделы вроде как бы опять ладятся открывать. Послание от него, что ли? Не вовсе, значит, запропал по заграницам-то...

— Кабы послание...— Николай снизил голос и обвел глазами всех, словно набираясь силы.— Сам здесь.

Головы дрогнули.

— Видел?

— Самому не довелось. Но от людей знаю достоверны.

— Обязательно бы повидать,— тихо сказал Щербатый.— Я от него, прямо сказать, свет увидел. Нового завета человек. «Грядый во имя господне»...

— Грядый,— закивал Николай быстро. И вдруг улыбнулся во все лицо растерянной и детской улыбкой.— Он, видишь ли,— провокатор, пон-то.

Двенадцать глаз взбросились на Николая. Горящих. В упор.

Щербатый медленно привстал, отжимая доску стола черными крепкими ладонями.

— Слово вес знаешь, Николка? Я тебя за такое слово... В бога не верю, но в пона вера есть: он по постригу своему в божье имя играть не станет. А Гапон — пона особый, он божьим именем... грядый. И царя он божьим именем проклинал: сам слышал. Пастырское благословение на кровь дал... Чтобы такой человек...

— Провокатор,— тихо и упорно повторил Николай и расплакался, нелепо водя ладонями по заросшим, шетинистым щекам.— Как же теперь жить, родненькие?

И оттого, что он сказал так, от голоса, и оттого, что он заплакал, стало достоверно сразу, без доказательства: провокатор Гапон. Понял и Щербатый: смолк, отвернул голову в угол.

Манджурец заговорил первый:

— Кто вызвал?

Николай раздвинул, словно разбудили его.

— Мартын. Есть такой, из эсеров, Мартын, говорю.

— Из эсеров? — повернулся к нему Щербатый. — Тот, что с нами девятого в крестном ходу был?

— Тот самый.

— Михайло, Мартына знаешь?

— Знаю.

— Поручишься?

— Поручусь.

Щербатый покачал головой.

— Скор ты, я тебе скажу, на поруку. Я бы не дал. Ко двору мы с ним тогда, прямо сказать, рядом шли, у Гапона, у самого. Как первой пулей замыкнуло — лег твой Мартын брюхом в снег. И воротник поднял, морду укрыть. Гапон, небось, тогда не дожился. Еле оттащили его, чтоб не подбило. А Мартын — как рожок выгнул — смотрю, он уж глазом шарит, куда брюхо уткнути.

— Мы же только что говорили насчет того, как со знаменем в обнимку...

— Не дукавай, Михайло. То — другое совсем: то — бой; для боя свой закон. А Гапон нас не на бой, на жертву вел, без оружия, — утратить голой грудью: кто на такое, на жертву пошел, тому грудь прятать не гоже. Если довелось под расстрел — не пить. Ты б лог? Совесть, не поверю. Нет, скелет Мартын донес — дело, товарищи, проверки требует.

— А кто же говорит, чтоб без проверки,—вскинулся Булкин.— Такие дела без оказательства не делаются. Он тебе оказательства какие дал, Николай?

— Дал,—тихо кивнул Николай.— Доказательство твердое. Ежели бы нет, разве бы я на душу взял... Однако, и при том — нам ему — не с его слова верить. Он сам так обещал — своими глазами увидим: сам Гапон перел нами свое предательство окажет. За тем он ко мне и пришел — за свидетельством вашим. Мы — не гапоньевские, однако, я не партийные: за заставами нас послушают; по политическому, мы — делу этому сторона. Поэтому и просит нас Мартын: для свидетельства, говорит, не для суда.

— Где свидетельство, там и суд,—хладнокровно сказал Угорь.— Что он там вертит, Мартын твой?

— Ничего не вертит. И по-моему так. Свидетельствовать можем, а судьями — кто нас поставил?

Щербатый подозрительно оглядел Николая.

— О-ох, нет у меня к Мартынюку этому доверия! Кто еще его, братцы, видел? Глаз у него, я скажу, кровавой: как глянешь — она из глаза смотрится. К хорошему глазу кровь пролитая не пристает; это, брат, доподлинно. Тут надо с оглядкой.

Угорь подумал.

— Доручить Михайлу дело. Он за Мартына как бы поручитель, пусть вникнет. Со всей осторожкой: тут я — за Щербача вполне. Охранное впутавшись — ежели что, влипнуть незолго; там тоже народ школенный: подденут — не дынешь.

Еще потолковали и порешили, чтобы я свиделся с Мартыном, не откладывая, выяснил дело — и, если надо будет, условился — на свою ответственность и на свою совесть.

Но Мартына не было в Питере: где-то очень далеко, в моджахем-углу каком-то, шло партийное — и затяжное — совещание. А когда оно кончилось и комитетские вернулись, долгое время напрасну вызывал я Мартына на партийные явки: он не являлся, хотя я знал — в городе он был. Дружинники волновались: прячется, наклепал на Попа, извел напраслину. После одного из очередных заседаний союза я отправился к секретарю петербургского эсеровского комитета, товарищу Даше, с твердым намерением добиться свидания с Мартыном во что бы то ни стало.

Глава II. МАРТЫН.

Не по-обычному встретила меня Даша: без улыбки, неприветливо. Мне показалось даже, что она раздумывала — впустить ли? Во всяком случае не сразу она откинула дверную цепочку. Войдя в прихожую, понял: на вешалке шуба с котиковым воротником шалью; высокие черные ботинки в углу. Мартын здесь, Мартын не хочет встречаться.

— Я не к тебе, к Мартыну.

Глаза стали еще неприветливей.

— Мне уже говорили на явке, что ты его ищешь.

— Я вызывал его несколько раз, не приходит.

— Не приходит, значит, не находит нужным; зачем же ты настаиваешь?

Не отвечая, я прошел по коридору в Дашину комнату. Вошел без стука. Мартын сидел у стола, под лампой. Лицо исхудало с тех пор, как мы виделись в последний раз: тупыми углами тянули кожу над бородой тяжелые скулы; веки припухли и одулись; белки глаз перекрыты частой кровавою сеткой.

— Вы плохо спите, Мартын?

Он глубже осадил голову в плечи.

— Я не мог притти тогда на вызов,—медленно, глядя в сторону, проговорил он. — Да, признаться, мне и вообще не хотелось видиться сейчас; притом, вы слышали, вероятно, я с боевой... с дружинной, — поправился он, — работы снят.

— И вас не по этому делу искал, а по другому; о котором мы говорили с Николаем.

Мартын дрогнул скулами и быстро поднял глаза; у него, действительно, страшные глаза, у Мартына: убил — и помнит.

— О каком Николаем?

— Да бросьте, Мартын, вы же чудесно знаете: по Гапоновскому делу.

Он весь дернулся и встал.

— Николай не имел никакого права говорить вам об этом.

— Поскольку вы обратились в Боевой Союз...

— Он и это сказал вам?

— Да что вы, Мартын. Вы разве не знаете, что я— председатель Боевого Союза?

— Вы?..— Он потер лоб.— Не знал. Откуда мне знать? В конце концов, что я? Секира в руках Центрального Комитета. Мне говорит только то, что я должен знать.

— Но раз вы обратились к Боевому Союзу.. Почему Ц. К. не предупредил вас?

— Я не докладывал Ц. К. о моем обращении,— пересбил Мартын.

— Не докладывали о деле?

— Да нет. О деле, о том, что Гапон провокатор, Ц. К. осведомлен, конечно. Больше, я и расследование вел по приказу Ц. К. Ц. К. приказал мне залезть в эту грязь... по горло... и не дает мне из нее вылезть. Он более, чем осведомлен, он знает уже все наизусть.

Он потрогал горло рукой и повторил, широко и испуганно раскрыв веки:

— Наизусть. Два месяца, я, как циркач на арене, показывал публике... Ц. К., я разумею,— все тот же фокус — прозакаторство Гапона. Все тем же способом. Я привык, это уже обратилось у меня в прием, как в цирке, я вам говорю. А они смотрят.

— Прием необидителен, значит. Вы недостаточно четко проделываете наш фокус, Мартын.

— Упражнение для детей младшего возраста. Он элементарен, как настоящий поп. Он выдает себя по первому знаку; он идет, как гусь... на провокацию.— Он вздрогнул на этом слове и сжал руки.

— Кошмарное слово. От этой дьявольской игры с разоблачением мои мысли начинают путаться. Вызывают дни, я сам не могу разобрать больше, кто кого ловит: я Гапона, или Гапон меня. И кто из нас — по-настоящему провокатор. И изолгался вдоль и поперек. Революционер, который лжет... Мы молчим на допросы не из одной осторожности, из брезгливости, прежде всего: лгать, хотя бы даже охраннику!.. А я лгу, как адвокат. Если бы Гапон пришел в Ц. К. и сказал, что он испытывал меня, и что я поддался на эту удочку и согласился вступить в переговоры с охранным, я не возражал бы: я просто пустил бы себе пулю в лоб.

— Разве вы вели переговоры с охранным?

— Через Гапона, да. По приказанию Ц. К.: я докладываю о каждом шаге и слове, конечно. Но это не меняет дела... Мне казалось, по прошлому моему, я мог бы рассчитывать на более товарищеское ко мне отношение. Они израсходовали меня на это дело, как затрепанную трехрублевку, которую уже противно в руки брать.

— Зачем вы это говорите, Мартын. Вы отлично знаете, что вас любят в партии. Любят и ценят.

— Любят и ценят, — скривился Мартын. — Если бы так, пустили бы они мое имя трепаться под департаментскими перьями, в обложке дела о провокаторах. Переговоры с Мартыном! Ого! Вы думаете, перья не работают? И вы думаете, это можно отскоблить, как чернильную вляску... резиночкой? У Гершуни такого дела нет, у Сазонова — нет, у Мартына — есть. Почему? Ответ под обложкой: «Дело №...». Он принял

таким, он переговаривался... Значит, прицел был взят верно... Революционер, который разговаривает с охранным на языке бомбы или ножа,—уже полупровокатор, это — «возможность». А я разговариваю с ними недели.

— Зачем?

— Спросите Ц. К. Они приговорили Гапона по первому же разу. Но они боялись его популярности. Они запретили ликвидировать его одного, обязательно в паре с каким-нибудь из крупных охранных. Ц. К. остановил выбор на Рачковском. Гапон и Рачковский — в одном гробу. Обязательное условие. Иначе нельзя. Иначе рабочие не поверят: убийство камнем ляжет на партию.

— Случай редкий: Ц. К. на этот раз, по моему, прав. Заставы еще помнят и, будем прямо говорить, любят Гапона. Гапон — имя настоящее, живое имя, потому что оно вошло на действии, 9 января — акт, которого не вытравить из памяти рабочих. Такие имена, как Гапон, не так легко притушить револьверным дулом. Рабочие, действительно, могут не поверить, как не верят, хотя бы, мои боевики.

Мартин устало опустил голову на руки.

— Политически, может быть, это все и верно. Но это вводит нас в зачарованный круг: задача — невыполнима. Рачковский — стрелный зверь, его не поймать на мякуну. Он дважды назначал мне свидание: дважды, вместо него и Гапона, я заставлял стаю филеров. Филеров высокой марки, уверяю вас, они чисто делали дело... Но и мой подпольный стаж достаточно

высоки. Мы узнавали друг друга с полувзгляда, из-за наших масок... Мы разошлись... без последствий... Дьяволова игра. Он не придет никогда. Я кончу.

— Вы рискуете, что партия не признает акта.

— Пусть. Это лучше... чем сойти с ума, потому что, если это продолжится еще... я за себя не ручаюсь. И уже не сплю, у меня уже путаются мысли. И острее с каждым днем, потому что... в партии даже, я уже замечаю... да, да, это не большая подозрительность, это не психоз, пока я хорошо еще владею всеми своими чувствами... не знаю, что будет завтра, но сегодня — так: я замечаю, что товарищи уже начинают в разговоре со мной надевать перчатки... На мне слишком много налипло грязи... они боятся, как бы не отскочил и на них кусочек, ха-ха!.. Меня уже сняли с работы. Сторожность? Не верю, не одна осторожность... Пусть не признают акта, пусть предадут меня окончательно — они уже предали меня, если хотите. Я брошу тогда все, я уйду из партии, уйду из революции, уйду от себя, может быть, но я кончу. Больше так я не могу. Еще две ночи, и я буду, наконец, спокойно спать. На пятницу, предупредите ваших дружинников, — я последний раз покажу свой цирковой номер.

— А если Гапон не пойдет?

— Гапон? — вскинул зрачками Мартын — в них был застылый, смертный, беспредельный ужас. И тотчас успокоенно и блаженно засмеялся мелким дребезжащим смехом: — Да, нет же. Все предусмотрено, каждая деталь постановки; я срежиссировал этот спектакль чище, чем Мейерхольд Блоковский «Балаган»

чик». — Он засмеется опять. — Это не плохо сказалось, не правда ли? Тоже трагический балаган. Его надо было срежиссировать тонко: вы правы, зрители предубеждены против пьесы, они требуют, чтобы герой был героем, а я хочу показать его, как он есть — мерзавцем!

Он загнулся и подумал, мучительно щуря глаза.

— Переломить зрителя — это нелегко, он слишком быстро и легкомысленно свинцет, он не хочет досмотреть до конца. Я все предусмотрел, я подготовил диалог, я смонтировал пьесу, говорят вам. Я ручаюсь за успех. Но если поверят эти... я нарочно выбрал самых предубежденных: Николай — правая рука Гапона, и этот Щербатый — недоносок революции, Калибан из Шекспировской «Бури»... Если поверят они, кто угодно поверит. Нет, за это я спокоен.

Он потер руки привычным, «мартыновским» жестом.

— Я уже десять раз пережил то, что будет, деталь за деталью. Я вижу, понимаете, физически вижу, до мельчайших подробностей, как именно я его убью. Комнату, где это будет, я велел оклеить новыми обоями, единственную во всей даче (мы ведь на даче будем, в Озерках): дача запущенная и пыльная, как кулисы театра, и среди нее — павильон. Театральный павильон, вы разумеете? Я сам выбирал обои, розовые букеты по белому рубчатому полю. И приказал наклеить завязочками букетов вверх, обязательно вверх. Вы чувствуете? В комнате, где будет убит провокатор, обязательно должны быть розы завязочками вверх... Я подобрал мебель. Гримы даны. Я вижу его лицо,

какое оно будет... в момент. Борода с пивной пеной на завитках у подбородка... Я буду пить его пивом, он всегда роняет пену себе на бороду... Под бородой новый галстук с жемчужной булавкой. Он стал носить жемчужную булавку — с тех пор, как стал провокатором. И галстук будет провокаторский, с шиком, малиновый с синим, в полоску, атласный... с растрепанным хвостом... выбившимся из-под жилета... Он расстегнет шубу, когда будет пить, и хвост будет на самом виду... концы таких галстуков всегда махрятся. Я вижу все. Я твердо помню весь диалог... все мизансцены финала. Как по четатному тексту. Вы убедитесь в этом.

— Я не знаю еще, буду ли я, Мартын. В этом деле я не вижу себе места.

Он глянул на меня исподлобья и тотчас спрятал кровавеющие белки глаз.

— Нет, приходите. Я уклонялся это время от встречи. Вы мне — по по настроению. Вы мне сейчас тяжелы, товарищ Михаил. Вы знаете, я не люблю вас. Я и сейчас сержусь на себя, что так разболтался перед вами от бессонницы. Вы не поймете. Я не раз видел: вы не понимаете, как можно сделать — и потом мучиться сделанным. Вы не умеете мучиться, а, стало быть, вы — не наш. Но на этот раз это хорошо, может быть. Может быть, даже это очень хорошо. В пятницу нам нужен будет... там... хотя бы один трезвый: мы все будем пьяны, кто чем.

— Адрес?

— Озерки, угол Ольгинской и Варваринской, дом Звержинской. Восемь вечера в пятницу. Но без опозда-

ния, к девяти. Я должен на станции встретить Гапона. Мы условились так... Да... И примите меры, чтобы дружинники наши были без оружия. Это неременное условие. Без оружия. Чья-нибудь горячность может сорвать все дело. И начал, и доведу до конца...

Глава III.

ТРАГИЧЕСКИЙ БАЛАГАН

И оповестил дружинных. Сначала решили было: ехать всему Комитету, чтобы потом всем Союзом свидетельствовать... чтобы от всех застав были свидетели. «Всенародно 9 января шли, всенародно и судить будем». Но пятнадцать человек громоздко. Отобрали, в конечном счете, восьмерых.

Требование Мартына быть без оружия вызвало бурю.

— Капкан, не иначе,—горячился Булкин.—Сохранкой сговорено, голыми руками взять хотят. А ну их, ежели так, к ляду — и с Гапоном. Пробазаришь голову не через за что. Когда мы без оружия ходим?

— Верно,—качнул лохмами Угорь.—Неладно: как же тому быть, чтобы дяком да без кадила.

— Я ж вам говорю, ребята, бонсея Мартына, как бы кто раньше времени...

— Скажи, милосивец выискался. Чхать на него, на Мартына. Бером, братцы, чего тут.

— Теперь нельзя уж. Я за вас согласие дал.

— А он откуда узнает, есть ли, нет ли. Что он, по карманам будет шарить?

— На слово идет. Что ж ты, слово порушишь?

— А то нет? Дерьма в нем, в слове...

Поспорили еще. Однако, перемогло решение, чтобы не брать. Кроме как мне: Мартыновский запрет — на одних рабочих. Ехать в две партии, чтоб не так заметно. По зимнему времени, едва ли в Озерки много пассажиров: большой тучей высадимся — подбзрят.

Я выехал со второй партией, первую повел Угорь.

Дача Звержинской стояла на отлете, приметная, словно выпертая на перекресток заснеженными частотами соседних длиннейших заборов. Два этажа, крашенных голубою краскою, в обычном здесь стиле «чухомского рококо» с поломанной резьбой по отводу крыши, по описке фронтона. Кренились к снеговой, чуть-чуть промятой чьим-то шаркающим неосторожным следом, дорожке крупнее сучья чахлого, лысого сада. Тишь. Кругом ни людей, ни собак. Окна заклеены неструганными, сучкастыми досками кривеньких ставней. Нелепыми квадратиками желтых и фиолетовых стеклышек расцвечены глазки двустворчатой двери с пожелтелой (с прошлого года) визитною харточкой.

Мартыя открыл.

— Все?

— Ежели других не ждете, все.

— Наши где? — угрюмо спросил Щербатый.

— Наверху дожидаются. Полегче, не натепоchte, товарищи. Тут половина в стороне застелен. Снег сбейте. Чтобы, храни бог, приметы не было.

Мартын повел нас, путаясь в тяжелых позах медвежьей шубы: из конспирации, очевидно, он был не в обычной своей котиковой, воротник шалю.

Комнаты пусты, темные, жуткие. Кое-где шершавыми языками свисали со стен отодранные белосые обои. Под черной лестницей, у чулана... или уборной, залепленная паутиной, свалена была садовая мебель; из-за плетеных, прогнутых сиденьев белес, подняв осколки бесформенной руки, гипсовый амур в кудряшках.

Мы поднялись во второй этаж. С площадки лестницы — комната, в розовых букетах, вверх завязками. В ней одной была мебель: и странно, именно это придавало ей особенно нежилой вид. Стол овальный, с потрескавшейся, горбами скоробленной, ореховой фанерой, два стула, чуть осевший на одну ногу, розовым пыльным кретоном крытый, диванчик. Со стола чайным огоньком мигала жестяная лампочка. Два стакана, четыре тарелки, горкой, одна на одну, вилки, столовый нож.

— Ужинать будете?

— Закусим.— без смеха показал зубы Мартын. Он был совсем, совсем прежний: спокойный, уверенный, крепкий. Он сбросил шубу и остался в шерстяной фуфайке, плотно обтягивавшей мускулистые плечи. Словно угадав мою... нашу мысль, он согнул правую руку, вздув мощный бицепс, и показал опять ровный, белый оскал мелких и красивых зубов.

— Пожалуйте!

Он приоткрыл дверь в соседнюю комнату.

— Вы тут и послушаете, что Гапон будет мне говорить. Стены картонные: можно сказать, все равно что их нет. А как разговор кончим, тогда уж слово за вами будет, товарищи.

Угорь и трое приехавших с ним сидели на полу, поджав ноги, хмурые.

Никто не ответил. Мартын потер руки.

— Не злбоко?

— Ладно, чего тут. Не время еще за Гапоном?

Мартын торопливо глянул на часы.

— Сейчас пойду. Так я вас пока запру, товарищи.

— Как запрешь? — поднял бровь Угорь. — С какого резона?

— Если не запереть, он толкнется в дверь, обязательно. Он осторожный, Гапон. Обнаружит. Когда кончим разговор, стопру.

Рабочие поднялись с пола.

— Не дело... заперти.

— Чудно как-то выходит, товарищ Мартын. То было, чтоб без оружия, а теперь, видишь ты, и вовсе под замок.

— Так нельзя же иначе. Неужели не понимаете, товарищи, если он узнает, что вы здесь, конец всему делу, не слышать вам от него правды. А, может быть, и того хуже будет.

Он опять вынул часы.

— За Гапоном пора идти. Не задерживайте меня, товарищи.

Угорь качнул пятернею дверь и ослабился.

— Ладно, ребята. Садись к стенке. Пусть запирает. Окромя Михаила. Товарищ Мартын, ты нам Михайлу, где ни есть, приспособь, на свободе. Мало ль какой случай. Тебе вполне одному не способно. Притом уйдешь, а ожели без тебя что...

Мартын подумал.

— Товарища Михаила... в самом деле, на случай можно поместить и на площадке, с черной лестницы. Если кто-нибудь войдет, он услышит. Это верно. Это я упустил. Я ничего не жду, ничего быть не может, а все-таки, для верности. Идемте, товарищ... А к вам просьба: без стука, чтобы совсем тихо было: он очень осторожный, я вам говорю, Гапон. Стукните, потом не поправить.

Мы вышли. Мартын запер дверь тяжелым висачим замком, неловко и медленно вдав его в насажено винченные кольца.

— Вы вот здесь поместитесь,— торопливо сказал он, распахивая взвизгнувшую ржавой пружиной дверь, на черный ход. — Очень удобно. Здесь шель есть, вам не только слышно, но и видно будет... Я проведу его с того хода, по другой лестнице.

Он стал спускаться по обшарпанным черным ступеням вниз, в тьму.

— Без шубы, Мартын?

— В самом деле.

Он вернулся, покачивая головой и посмеиваясь под нос.

.....

Давно уже шелкнул внизу ключ за Мартыном. Я сидел на ступеньках, прислонившись к шатким перилам. Пахло мышами и сыростью. Сквозь разбитое стекло, на стеклянной галлерейке, что идет от площадки, ровный синеватый лунный свет.

Что-то сказал за стенкою Угорь. Слов не расслышал, только имя дошло: о Гапоне.

Да, Гапон. Была песня и нет. Не о девятом января: эта песня останется. Но Гапон из нее выпадет, лицом в грязь. Имя выпадет, а песня останется: еще крепче, авончей, чем была. Судьба всякого имени: поблестит, смеркнет. А те, что без имени, — остаются.

Я всего раз видел его, Гапона. В позапрошлом году, в декабре... или нет, еще раньше, до снега, — слыхать была, — свел меня с ним Мартын: тогда они только что сошлись, Мартын в нем души не чаял, много от него ждал: умел брать рабочих словом Гапон. Сколько месяцев прошло, а помню до мелочей: в пивной, в задней, особняковой комнатке, под замком; стол клеенчатый, липкий от пролитого пива; моченый горох на блюдечке с окажанным краем; узниеторла пустых, для счета отставленных бутылок, и качающаяся бородастая голова с острыми и быстрыми глазами.

Хорошо говорил в эту ночь Гапон. С верой говорил. Сильно. И потому, что он говорил нам здесь на тайном свидании то самое, что каждый день открыто слышали от него рабочие в клубах его «отделов», казался он мне чем-то выше нас, в нашем быту, в нашем «наружном», надежно укрывавших, мудрой наукой подполья, революционную нашу работу. Казалось, у нас два лица,

два слова: одно — для закрытых дверей, для партийной клочки, другое — для раскрытых комнат, для улицы, для «настоящей» фамилии; а у Галона — одно. И даже совместно чем-то стало перед ним, немудрящим пенником этим, с дохлацким говорком и богучими, хмельными глазами. Точно на одной борбе, под одним и тем же ударом: мы — в панцире, он — с раскрытою грудью.

Так ли? Я присмотрелся пристальней, крепче. Галон хмелел. И сквозь грузный и мутный хмель тяжелого бурого пива стали проступать невиданные раньше черты. И заметил: косят, обоган встречный взгляд, быстрые черные глаза, и жадно, животною жадностью, слюнявятся над пенным стаканом волосами закрытые губы... и не случайно, копеечным шилом, торчит из карманчика пиджака (он в пиджачном был, в пивную неслили было в расе) пострепанный шелковый платочек. Есть у попа Галона и второе лицо. Но так уже сложена нынешняя жизнь, что именно настоящее свое и прячут люди.

Галон хмелел. И с каждым стаканом уходил дальше, дальше. Стало противно. И видеть второй раз Галона не захотелось...

И вот, привелось: совсем повернулся к нам вторым, подлинным своим лицом Галон. В пересмотр. Сегодня, здесь, в комнате с розовыми букетами, переживаете назад уже написанная, уже заученная страничка истории... Чьими руками? Мартын прав; нужно, чтобы был хотя бы один трезвый.

Снизу лязнул замок. Дошел из сеней гулкий, подпрыгивающий голос и уверенный басок Мартына. Опять шлепнул двойным поворотом замок. Свесив голову через перила, я слушал. Протопопалки, удаляясь, мягкие, в валенках или ботах, шаги. Стихло. И перешел к двери, размысливая щель.

Мартын согнал или ошибся. Щели не было никакой. Дверь забухшая, плотно вдавлена в стену тугой пружиной; у порога, чуть-чуть, змейкой сочился желтоватый, скупой свет. По стене бродят лунные блики.

Тихо. Потом... неожиданно и пакостно рушит пестем и тишину кабацкий мотив:

Маргарита, бойся уплывенья,

Маргарита, ах! мой любовь — мученье.

Мартын старательно высвистывает шансонетку. На душе накипает злость за этот ничтожный, больной, актерский «наигрыш».

Свет ближе... Шорох двери и торопливое, словно прихрамывающее на прогибающихся зыбучих половах шарканье ног.

— Тут наверно никого нет? Смотри, не шути, Мартын!

Мартын перестал свистать. Его голос спокоен и тягуч.

— Да нет же, тебе говорят. Кому быть?

Помолчали. Сдвинули стулья.

— Жуть у тебя тут, что на погосте.

Мартын засмеялся. Смех нарочитый, неприятный, гулкий.

— Священник погоста бонится?

— А ты что думал? Священнику страшнее, чем другому кому. И, по своему священству, такое о загробном знаю, чего ты не знаешь. Хочешь, я тебе весь путь человеческой души, из тела исшел, через заставы ангельские, докажу: на какой день какая застава, чем душе испытание..

— Вон как! И заставы, говоришь, на небе есть? И там — охранники?..

— Ты не смейся, Мартын. Форсу-то не пускай. Помяни мое слово, смерть придет, червем будешь виться, от смерти лицо прятать. Тяжело тебе будет помирать, Мартын, ух, как тяжело. Кровь на тебе, Мартын. Тяжко будет, помяни мое слово!

— Тяжко? А ты как? На тебе не только что кровь, хуже. По небесному нашему уложению, за предательство на какой заставе осадят?

Галон подхихикнул недобрым, нарочитым смехом.

— Как кому! Тебе, например, ничего не будет. Взреям, по ихнему закону, на все разрешение. Я, брат, вашу библию, как в академии был, в подлинном читал.

— Хвастаешь!

— Ну, пусть хвастаю. Дай-кося я корзиночку взрежу. Озяб чего-то. Дрожь берет. Как выехал, так все дрожь и дрожь. Выпить скота.

— Я тебе тут пива приготовил.

— Ты все на экономи. И, брат, не по-твоему: вина привез.

— Много ты пить стал, Галон.

— От тебя нью, не от другого чего. Морочить ты меня, Мартын. С сегодня на завтра. А от тебя и в моих делах застоишь.

Щелкнула под лозием тугая бечева. Зашуршала солома.

— Штопор-то у тебя есть?

— На ноже. На. А о предательстве ты мне не ответил, отец Галон. Я не о себе, о тебе спрашивал.

— Какое мое предательство?

Хлопнула, потягом из бутылочного горла, пробка.

— Какое мое предательство? — повторил Галон. — Я свою линию веду прямо, от первого дня: как народу лучше, так я и иду, так и народ зову. Думал, — у паря, позвал к парю. Видел, что вышло? Проклял. К социалистам пошел, думал лучше. Видел, что вышло? Расточили силу народную, а сами по заграницам, по кофейням спор... Про параграф... чье учение правильное... А и тех побили, и этих. Чье учение правильное, того не бьют... в том и правильность... Истинно сказано в писании: горе вам, книжники и фарисеи, лицемеры. Шкуру медвежью делают, а народишко, гляди-ко, уж под медведем. Дурново-то орудует, ась... А они штемпелями балуются: комитет супротив комитета. Пробовал, знаешь сам, восдино их собрать, чтобы единою сядой... куда! Держится каждый поп за свой приход... Да кабы приход, а то в приходе-то одни покойники. А они спорятся... Проклял и их.

— И пошел в охранный?

Стукнул стакан о стакан.

— Что же, что охранное. Они тоже народу дурного не хотят. Они народа не касаются. Их работа одна, чтобы потрясения не было, от потрясений и охраняют. От нарушителей. Это разве худо? Какой в нем, нарушители толк?

— Как кому. Кому и убыль, а трудовому народу...

— Да брось ты слова говорить. Трудовой народ! Он сам по себе на бунт не пойдет. Мужичку землицы надбавь, палогу сбавь, он тебе на века в пашню уйдет, по плечи по самые, с места не сдвинется. Рабочему тоже много не надо: двугривенный в день накинул, он и доволен. А ежели, да рубль? Американцы накинули ж, кому от этого дурно вышло? Живут душа в душу: и хозяин, и рабочий своим домком. Вот и у нас надо, чтобы так. К этому я и держу. Это, я тебе скажу, путь правильный. А так, чтобы ни у кого ничего, общежитие социалистическое, — это интеллигентная придумала, беспорочная: не на чем стоять, кроме, как на голове. И кличку какую придумали: «пролетариат»: слово-то, слышь, картавое, еврейское слово, ты уж меня прости, Мартын. Мы ведь с тобой, как братья родные, даром, что ты еврей, а я — поц. «Пролетариат», таким словом собаку звать, не рабочего православного.

— Нам с тобой, Галон, не о социализме спорить.

— По мне, хоть не спорь, ты ж затеял. Фыртынь— «охранители!» А спор, действительно, ни к чему. Ихнее дело, все равно в проигрыш пошло. Брось крутиться, Мартын. Крутить не будешь, — счастье найдешь.

— Каким способом?

— Они тебя никак не боятся, Мартын. Не сказать, как боятся. И им про тебя такого рассказали.. Цену назначил. Вот это, говорю, нарушитель! Деньги хорошие дадут, если пойдешь.

— Сроки выдавать?

— Опять ты об этом! Кого выдавать-то, террористов? Какой от этого народному делу изъяс? Дела их какие? Убьют губернаторишку какого, — другого поставят. Казне не все равно, кому деньги платить? Только что замешательство от них, кровь, а толку нет. Ты вот о предательстве дашека, так это разве предательство — боевика выдать? Это -- кровь спасти!

— Одну спасти, другую пролить... С выданным-то что будет?..

— А ничего не будет, — торопливо перебил Ганон. — Ты, как сообщник, и их предупреди: так, мол, и так, слежка по сведениям, тикай, братцы! Охранное противу не будет: им главное, чтобы покушение расстроить, а не то, чтобы человека какого загубить.

— Кривить душой, мол. Вот и глаза в глаза-то не смотрят. Кривить. Значит, что повесят!

— Ну, а ежели и повесят? — изловом проснулся ганоновский голос. — На то он и шел, на то и обрекся. Тут губительства нет. А только я тебе говорю, вешать не будут. Зачем им?

— Ежели бы так, ты бы мне по-прежнему говорил. Денег бы не судил.

— Денег? Бога побойся, Мартын. О деньгах не я заговорил первый. Когда я тебе открылся, что ты мне первым словом сказал: «Сколько?»

Мартын тяжело закашлялся. Стукнул стул.

— Поестой, спину потру. Эй тебя.

— Остань... Сколько? Охранная поводка известна: с пустыми руками по таким делам не ходите. Ты сам-то денег не берешь, что ль?

— А, конечно, не беру. Да мне и не надо. Я за книгу за свою, за границу, десять тысяч, брат, получил; как копеечку.

— Да пятьдесят тысяч франков, что Соков на рабочих дал, — ж тем десяти тысячам.

— Но, но... Ты, Мартын, полегче!

— Чего полегче? Это факт достоверный. Не ты, что ли, Черемухину револьвер дал, чтоб он Петрова убил за то, что в газетах тебя разоблачил в растрате рабочих денег?

— Разоблачил! Пловал я на разоблачения. Газеты что: либо жиловская, либо продажная! Как блядь. Только что денег жалко, а то бы я любую купил. Брось, Мартын, не то говоришь!

— Нет, ты все-таки мне скажи, с охранного сколько получил?

— Да не получал, тебе говорят. И надобности в том не было. На отделы давали, потом за книгу... Была бы надобность, взял. Стыда в этом нет. И тебе, если возьмешь, не будет. А ты вот что сообрази: ежели с умом, ты в год тысяч сто заработаешь, сй-богу. Получаешь, ачзад себе поставишь, по специальности. И живи, чего тут.

— Сто тысяч? Широко считаешь!

— Ничего не широко. За то, чтобы Дурново дело открыть, — ты пятьдесят тысяч просишь. Ну, с запросом это, конечно: такой цены нет. Там у тебя, на деле-то, и людей, надо думать, пяток какой-нибудь. Пятьдесят тысяч много: у них ведь тоже деньги казенные, отчетность. На двадцать пять тысяч сойди, дадут.

— По пятерке за голову?

— Эх, бередишь ты себе душу зря. Какие там головы. Двадцать пять тысяч, твердо говорю, дадут, мне Рачковский сам сказал! Хоть завтра. Теперь на Дубасина, говоришь, в Москве, готовится? На мази дело, так?

— Так.

— Ну, за Дубасина тоже тысяч пятнадцать, может, двадцать дадут. Не как за Дурново, конечно, у него заслуга меньше, но дадут, все же. А ежели поторговаться хорошенько, может, и еще прибавят. И по другим местам поискать, еще дела два-три наберется. Смотришь, за год-то тысяч сто и соберешь, верно говорю. Это не деньги?

— А если узнается?

Галоп низменно рассмеялся. — Откуда узнать-то? О твоём деле Рачковский. Дурново да царь — только и знают. А ежели еще кто знает — у них, в департаменте, говорю, чисто дела делаются. Внове, что ли? Сколько сквозь такие дела народу прошло, а о ком узналось? Страхи эти ты окончательно брось. Ты чего не пьешь, губы мочишь? Пей!

— А все-таки узнать-ся может

— Экой! Ну, а ежели бы даже и так! скажи на милость, испугали до смерти! Плевать я хотел на ихние изобличения. Мени, вон, ныне всякая шпана травить стала. Григорьев этот, да Петров, комиссию какую-то, общественную, выдумали, суд. Эсеры и эсдеки лаются... Им меня снискнуть выгодно, от рабочих отвести! Врешь, по дамся! И на суд ихний, ежели что, не пойду. От злобы все, да от зависти. Вот те и отповель: поди, поверяй. А тебе и того легче будет. Ты — партийный, в партии к тебе вера. Брось капительнись. По рукам, заляток получишь, как просил, тысяч пятьдесят, и действуй.

Пауза. Я ждал; лязгнет под ключом висятый замок. Но замок не лязгнул.

Гапон зевнул и проговорил вяло:

— Зря ты меня сюда завез. Холодно, сиди в шубе, без света, вино в горло не идет. Это все можно бы и в Питере сговорить — у Кюба или Контана... Кабинетик светленький, тепленький, шерица, померанцевой рюмочку под нее, перед ужином... Уборная-то тут есть?

— Внизу клозет.

— Вот видишь, и в этом неудобство. Рыпайся тут по лестнице.

— Пойдем, я покажу.

И на этот раз не лязгнул замок. Загукали, сквозь стены, удаляющиеся по той лестнице шаги. И опять, мертво в даче. Чуть журчит, сквозь осколки стекла голубиный ветер на галлерее, у площадки.

Шаги уже подо мной, в нижнем этаже. Ближе. Голос Галона, громкий и тревожный, — совсем тут, у лестницы.

— Эка темнота! Тут ничего нет наверное Мартын?

— Да нет же, говорю.

— Почему по этой лестнице не вел? Тут разве не ближе?

— Ближе, пожалуй, не подумалось. По той прошли, по той я сейчас пошел.

— Не буду я по темному ходить. Веди по этой.

— Ладно, не все равно? Иди.

— Нет, брат, или ты вперед. Смотрилось, узкая какая. Знал бы, в жизни не пошел. Ты говорил, квартира конспиративная, а тут, видишь ты, даже не топлена.

Поднимаются...

Я дернул дверь рядом в чулан. Заперто или зашпачено. Ступени скрипели под шагом, одна за одной, к повороту, — сейчас я буду с Галоном лицо к лицу. Только бы он до меня не дотронулся.

Луна совсем поднялась. Светло.

Оттянув рухою пружину, чтоб не так визжала, я открыл дверь в розовую комнату на себя и зажался за ней, придерживая ручку. Мартын прошел первым; он быстро и тяжело дышал. Стук бот за ним следом — внезапно оборвался.

— Дверь почему открыта, Мартын? Держит ее кто... а... Мартын?

Мартын не отозвался. Я, попрежнему, крепко держал ручку. По обводу двери, царапая отсохшую краску,

скользнули нащупывающие пальцы. Я почувствовал липкое прикосновение холодной и шершавой кожи и отдернул руку. Дверь ударилась о мягкое, задержалась и хлопнула с визгом. Из-за нее — в упор стал Гапон, в расстегнутой шубе, в серой мерлушковой шапке, с исклоченной бородой. Вместо глаз — белы белков: зрачки закатились.

— Мартын!

На дикий вскрик — Мартын выскочил. Вледный.

— Слушали нас, Мартын! Убей!

Он выбросил обе руки вперед, отогнув голову, целясь срючепными пальцами.

— Убей! Ой, худо будет!

Я опустил руку в карман. Но Мартын схватил за запястье, левой рукой быстро нащупал браунинг и вынул. Гапон кивнул головой, закрестился и шагнул мимо нас, через порог, в комнату.

Дверь глухо хлопнула. В тот же миг сухим разрывом треснула там, в боковушке, дверная створка: сорванный замок перекатом простучал по половицам. Мартын шарахнулся в сторону. Я бросился вслед за Гапоном. Сквозь пролом, сгрудясь, напирали дружинники, Щербатый впереди.

— Братцы!

Гапон прижался к стене и вдруг взвыл тонким, страшным, далеко слышимым лаем.

— А-а-а-а-а...

Щербатый, шатнувшись, сбросил тулуп. За дверью по лестнице вниз, загрохотал, шатая ступени, бег... дикий, без оглядки.

Мартыи?

Угорь опомнился первым. Он ударил широкой жесткой ладонью по раскрытому рту, далеко разбрызнув пенистую, кровью зарыженную слюну.

— Молчи, пес!

Гапон захлебнулся и упал боком, запахивая шубу.

— Родненькие, милые, не надо...

— Вяжи его.

Кто-то поднял с полу длинную тонкую бечеву... от морзяны с вином и закусками... Щербатый, прижав на колени, вывернул Гапону руки назад, круто ударив его лицом об пол.

— Продался, стерва... Михайло, браунинг с собой?

— Мартыи унес.

— Братцы!

Щербатый налег, вскрик оборвался стуком зубов об пол.

— Не бей, Щербатый!

— Отсунься, Михайло! Барпичаешь! Собаке собачья и смерть. Чем его?.. Штопором, что ли?..

Вулкин пошарил по столу, сбрасывая на пол тарелки и банки. Был тут где-то...

— Ребята, поимки по дому, топор! или что...

— Товарищи...

— Сказал, — дико расхохотался, подгибая голову, Манджурец. — Продам воскресенье, Иуда! Опоганил на вечные времена!..

И снова тяжелый удар головы об пол...

Дом ожил. По комнатам, по лестницам, — быстрые, крепкие, бегущие, ищущие шаги.

— Веревка. В кухне снял.

Гапон рванулся отчаянным броском. Дружинники торопливо навалились кучей.

— Ты... драться!..

-- Родные.. сказать дайте..

Николай, калачиком подогнув ноги, сел поодаль на пол, быстрыми ловкими пальцами свертывая петлю. Он кивнул, оскаля короткие, до корешков стертые зубы.

— Поставь-ка его на ноги, ребята. Пусть побалакает...

Гапона подняли. Я видел только вздрагивающий затылок и тонкую бечеву, закрученную на рукавах шубы.

— За что.. братны, родные мои.. Ваш я... Мартына испытывал... слух о нем есть... что... предатель... Нарочно говорил... Я новое воскресение готовлю... не с крестом, с мечом... За тем и приехал.

Голос тускнел.. Сошел на шепот: он сам себе не верил, Гапон. Он отвернул голову в мою сторону, влево. Глаза стали влажными. Закапали быстрые, частые слезы.

— Пожалейте, родные, любимые...

Николай поднялся, распрямляя петлю.

— А, ну, Угорь.

— Куда? — вскинул тот голову. — На руке, что ли, в поволок? Крюка-то нет?

- В той комнате вешалка, — хивнул к двору Миней.
- Не сдержит.
- Сдержит, чего там.

Ганон плакал, тихо всхлипывая. Угорь, придерживая за плечо, толкнул его в узкую дверь, меж ударом расплывшихся чланок. Вешалка в два крюка, в человеческий рост. Николай закрепил на одном свободный конец.

- Укороти.
- Все одно не подтянешь.

Щербатый накинул петлю, далеко отогнув бобрый воротник.

- Садись, поп.

Он нажал на плечи. Ганон осел под нажимом. Меж валепок Щербатого, вяло и мягко поползли от стены, из-под вешалки, коленко на коленко легкие цоги — в новых ботах, в отогнутых брезках. Я вышел в комнату с розовыми букетами. Рабочие, толкаясь плечами, обступили Щербатого и Николая.

Угорь вышел быстро, почти что следом за мной. Он был темен лицом, но спокоен. Повел глазами по стенам и спросил вполголоса:

- А тот где?
- Кто? Мартын?

Он хивнул.

- Не знаю.

— Надо бы поискать. Ребята, брось попа, дохлый... Обшарь домишко. Куда Мартын задевался? Найдешь, волоки сюда, за загравок.

— То-есть, как «волохи»?!

— А вот так!— блеснул глазами Угорь.— Крюков-то два; рядом и повесим.

— Ты что, спятил?

— А ты что, не слышал? Гапон — Иуда, да и тот гусь — хорош. Любо это будет, радышком.

— Не дури, не дам!

— Тебя не спросился. Вступись, свяжем, верю говорю! Здесь у нас свое понимание! Ну, что?

— Нет никакого. Пусто!

Щербатый вынес бумажник Гапона и две записных книжки.

— Смотрикось, братцы. Деньжищ. И записки.

— Ладно. За заставой разберем. Прибери по полу, братцы, чтобы не столь приметно. Николай, пошупай пона, перед отходом.

— Сдох. Достоверно.

Приладили кое-как выбитый матюром замок. Сгребли в угол кучей битые тарелки, прикрыли газетой. .

— Осмотрись, братцы. Следов не оставили?

— Откуда им быть. Обошлись тутощним.

Входная дверь оказалась распахнутой. Ключ торчал изнутри. На улице — пусто; по синему снегу, зигзагом, провады тяжелых ботов.

Угорь вышел последним. Запер дверь и забросил ключ за угол в чужой палисадник, в сугроб, под занесенной елью.

БИБЛИОТЕКА „ОГОНЕК“

ВЫШЛИ В СВЕТ:

- № 219. К. Паустовский — Микстоз.
№ 220. М. Дамашек — Невелли.
№ 221. В. Калерн — Большая игра.
№ 222. Елизавета Милослава — Королева экрана.
№ 223. М. Утман — Деревья.
№ 224. Американский юмор.
№ 225. А. Талотей — Московские ночи.
№ 226. Г. Заерс — Замок с призраками.
№ 227. Мих. Кольцов — Серебряная утка.
№ 228. Раббаданат Тагор — Избранные рассказы.
№ 229. С. Соколов — Утро председателя Губчека.
№ 230. Мустафа Ка-мал паша — Воспоминания.
№ 231. Мих. Кольцов — Звездочеты.
№ 232. Марк Захаров — Чертенок бедоты.
№ 233. Н. А. Некрасов — Новонаблюдения привилегированная
краски (р. Дарлинг и К.).
№ 234. Лена Тарло — Лутра.
№ 235. Артем Веселый — Рассказы.
№ 236. Болетер — Кавалер.
№ 237. В. Раденков — Землю.
№ 238. С. Ланос — Пластика малых вещей.
№ 239. Мих. Кольцов — Февральский март.
№ 240. Мелодия Италия.
№ 241. В. Вереслов — Дуэль и смерть Пушкина.
№ 242. М. Галлуно — Две матери.
№ 243. Г. Селвинский — Обреченные.
№ 244. Поль Маран — Революция раздвоения.
№ 245. Н. Новикович — Рассказ партизана.
№ 246. Анри Пуассан — Избранные рассказы.
№ 247. Г. Селвинский — Избранные стихотворения.
№ 248. Райдер Кингсид — О трех людях.
№ 249. В. Корольков — Незабываемые рассказы.
№ 250. Ойрад Уадет — Тридцать.
№ 251. А. Арсен — Дом Московского Совета.
№ 252. Реффин Халд — Рак в году.
№ 253. Г. Штерн — Вещные вещи.
№ 254. Шарль Луи Феллан — Жизнь.
№ 255. Г. Серебрякова — Записки Китаи.
№ 256. А. Бланкет — Кража.
№ 257. В. Ланос — Марьяна родила.
№ 258. Анри де Ренне — Маркис д'Амери-р.
№ 259. А. Тарасов-Родионов — Страна Души.
№ 260. Насиф — от — Финал.
№ 261. А. Мелуан — Ни о том, ни о сего.
№ 262. Г. Галле — Путешествие на Гари.
№ 263. Д. Маллери — Которые ночи были.
№ 264. Эрик Расон — Вечера барона Монсгаузена.
№ 265. А. Архипович — Пародия.
№ 266. М. Сервантес — Плутонская ревелля.

- № 267. М. Зощенко — Вредные советы.
- № 268. В. Валерианов — Вредные советы.
- № 269. Я. Гаш — Современные посетители Запада.
- № 270. Пьер де Ланс Адан — Картина Восточного.
- № 271. М. Голдберг — Избранные стихи.
- № 272. Густо Давидович — Избр.
- № 273. В. Мамонтов — Как делать стихи.
- № 274. Гомар — Возвращение Оливии.
- № 275. В. Юрковский — Избранные стихи.
- № 276. Г. Х. Андерсен — Избранные стихи.
- № 277. А. Николь-Пруст — Избранные стихи.
- № 278. С. Бударин — Избранные стихи.
- № 279. В. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 280. В. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 281. М. Самарин — Избранные стихи.
- № 282. Пьер Жан Берна — Избранные стихи.
- № 283. М. Бондарев — Судьба случайностей.
- № 284. Томас Манн — Днев.
- № 285. В. Верещагин — Рассказы.
- № 286. С. Галт — Школа в Пруссии.
- № 287. Пастернак Романов — Новые рассказы.
- № 288. Ефим Засуля — Встречи.
- № 289. М. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 290. В. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 291. Н. А. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 292. Мамонтов Пруст — Избранные стихи.
- № 293. А. С. Грин — Избранные стихи.
- № 294. Тысяча в одну ночь.
- № 295. В. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 296. Адам Хей — Избранные стихи.
- № 297. Т. Димитров — Избранные стихи.
- № 298. Мутт Мамонтов — Избранные стихи.
- № 299. М. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 300. В. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 301. В. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 302. Пьер Жан Берна.
- № 303. Ефим Засуля — Избранные стихи.
- № 304. Р. Л. Степанов — Избранные стихи.
- № 305. М. Горький в портретах и фотографиях.
- № 306. Гашин — Избранные стихи.
- № 307. М. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 308. Г. Билл — Избранные стихи.
- № 309. Мамонтов Романов — Избранные стихи.
- № 310. Мутт Мамонтов — Избранные стихи.
- № 311. А. Арсенов — Избранные стихи.
- № 312. В. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 313. Мамонтов Романов — Избранные стихи.
- № 314. Ф. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 315. Мамонтов Романов — Избранные стихи.
- № 316. В. М. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 317. В. А. Мамонтов — Избранные стихи.
- № 318. В. Мамонтов — Избранные стихи.

ЦЕНА КАЖДОЙ КНИЖКИ 15 КОП.

ОТКРЫТА ПОДПИСКА

на второе полугодие 1928 г.

Самый распространенный
в СССР
ежемесячный иллюстрированный
ЖУРНАЛ

ОГОНЕК

с приложением

Библиотеки „ОГОНЕК“

(по 2 номера ежемесячно):

подписная плата: полгода — 7 р.;
3 мес. — 3 р. 75 к.; 1 мес. — 1 р. 40 к.

„ОГОНЕК“ без Библиотеки

полгода — 3 р. 40 к.; 3 месяца —
1 р. 20 к.; 1 мес. — 40 к.

Ежемесячный журнал фото-
любительская и фото-репортажа

СОВЕТСКОЕ ФОТО

Подписная плата: полгода — 3 р. 50 к.
3 месяца — 1 р. 25 к.

Ежемесячный общественный и
популярно-технический журнал,
орган автотранспортного движения

ЗАВУМ

Подписная плата: полгода — 1 р. 70 к.
3 месяца — 85 к.
С № 1 до конца года — 2 р. 50 к.

Ежемесячный культурно-быто-
вой и домашне-хозяйственный
иллюстрированный

ЖЕНСКИЙ ЖУРНАЛ

В каждом номере прилагаются:
1. Вырезная выкройка. 2. Руководель-
ный контур заста. 3. Детский
Уголок.

Подписная плата:
полгода — 3 р. 50 к., 3 месяца — 3 р.
Полугодовым подписчикам бе-
сплатная премия — 10 номеров Би-
блиотеки „Огонек“, за доставку
в 1 рубль — „Гильем Руководящий“
или „Кудрявиц. Книга“.

ПЕРЕВОДЫ АДРЕСОВАТЬ: МОСКВА 6, Страстной бульвар, 11.

Анционерному Издательскому Обществу „ОГОНЕК“.

Подписка принимается также повсеместно на почте, письменно-
стями, отделениями „Правды“ и „Известий ЦИК СССР“, местными
контрагентами и во всех kiosках Концентрация Печати.